

Дикоросль (продолжение)

Соматика осени

Наступившая осень узнаётся ещё и по задаваемому ею телесному самоощущению, заметно отличному от летнего: ей явно соответствует бОльшая телесная собранность, даже, я бы сказала, телесная *настороженность*. Тело заново проводит, уточняет границы между собой и миром; собирается в себя, окукливается. Зябнет. Тело рождается в осень и ведёт душу, глаза которой ещё заморочены летом, — за собой: душа не то чтобы более слепа, чем оно (хотя иногда — да), просто у них разные зрения, которые не дублируют друг друга, но могут друг друга дополнять (и — запросто — мешать друг другу, взаимонакладываясь. Вообще у них сложные отношения).

Ранней осенью обостряется телесное зрение; к поздней пробуждается внутреннее. И есть такая точка внутри октября, хрупкая, пронзительная, единственно-хрустальная — в которой они — в равновесии.

Мы только-только начали к ней движение.

Топосы бытия: Историческая библиотека

Историчка — библиотека, в которой была прожита, продумана, прочувствована почти вся моя жизнь начиная с восьмидесятых годов, с уязвлённого и уязвимого начала, времени-без-кожи — вплоть до середины двухтысячных, когда она избрала себе иные локусы. Возвращение сюда — буквальное, до мелких подробностей, возвращение в начало жизни. Даже и неважно, с какими целями сюда приходишь: есть вещи, которые важнее целей.

(И не таковы ли все наши «прямые» дела на земле, все наши цели вообще: не поводы ли только они к тому, чтобы мы насмотрелись на мир боковым, по моему разумению — самым богатым зрением, нанюхались его боковым обонянием? — Дела и цели — только ворота, неизбежно узкие, но всё-таки — для того, чтобы мир вошёл в нас. А узкие они, должно быть, для дозирования — чтобы не раздавил, сразу весь вошедши.)

Без этих старых, коричневых, позднеоктябрьских интерьеров я не умею мыслить и чувствовать собственного начала, тайного содрогания перед жизнью, экспериментирования с нею на свой страх и риск. Отношений с любовью и смертью.

Как здесь хорошо, боже мой, как ясно. Как хочется проводить здесь дни — безграничные и медленные. (Сколько света и воздуха в читальном зале, сколько в нём всевременья!)

Здесь — самоценно. Здесь хорошо просто быть. То есть, даже когда тут занимаешься какой-нибудь фигнёй вроде писания в блокнот про свою нескладную жизнь, сам контекст уже несколько облагораживает и *выпрямляет* это занятие, даёт ему смысл, хоть чуть-чуть да превосходящий тебя.

Здесь, как мало где, всем телом и душой в их согласии чувствуется, что жизнь имеет смысл. (Ну и пусть иллюзия, а мне-то что! Бодрость от кофе — тоже своего рода иллюзия, а как помогает жить!)

Это — как дом, но лучше и в некотором смысле важнее: если в доме много своего, слишком-своего, то здесь — много общечеловеческого и общезначимого. Оно одно только, собственно, там и есть, но — в модусе обращённости ко мне, ненавязчивой (что важно) мне адресованности. Библиотека — это глубоко личный, соматический, чувственный, частный, единичный и штучный опыт общечеловеческого.

Иные библиотеки, как бы хорошо в них ни было (а мне — было хорошо всегда), всё-таки подавляют своим масштабом, своим избытком общечеловеческого. Такова (по меньшей мере для меня) гигантская Ленинка, с которой, правда, тоже связано много неотъемлемого. А Историчка, при всей плотности своей памяти, — очень человекосоразмерна.

Библиотеки — пространства диалога с мировой культурой в модусе её обращённости к нам — и в нашем собственном ритме. Ни одно пространство не было для меня, пожалуй, столь значимым в смысле диалога с миром — в студенческой жизни всё-таки чересчур много было суетного, да и болезненно-суетного, «слишком человеческого»: злая молодость, рвущая мясо с кости. В библиотеке у человека — все возрасты сразу. В библиотеке возраст вообще не важен. Тут-то он, маленький, преходящий, и открывает с изумлением свою соразмерность мировой культуре.

(И надо ли говорить, что именно здесь — да ещё разве в музеях — происходит *собрание бытия* в наиболее полном, почти неметафорическом смысле?)

Здесь от меня отстало даже то преследующее меня в последнее время на каждом шагу обстоятельство, что «мало осталось жить», — в библиотеке, чуткой хранительнице всех времён (и всем временам в ней уютно и тепло) этого совершенно не чувствуется.

Да и вообще, в библиотеку ходишь прежде всего за количеством жизни. (Кто как, а я ею очень насыщаюсь там, сверх меры даже: переполняет.) А все наши дела, которые к этому хождению как бы непосредственный стимул, порастут травой забвения ещё до своего начала. Они, действительно — только повод, подпорки, леса: однажды они рухнут, сметутся в мусор, и останется возведённое с их помощью здание жизни-в-целом — имеющее с ними, по сути, не больше общего, чем у дома — с теми же лесами или с молотком, которым в нём забиваются гвозди.

О яркости

Яркость — не менее внутренней и внешняя, «суетная»: в одежде, интерьере и т. п. — форма сопротивления смерти. Понятно, что Она всё равно победит. Но не хочется — даже понимая собственную обречённость, более того, именно из-за этого — сдаваться без боя.

О неполноте присутствия

В полном присутствии здесь-и-сейчас, в максимальном (вожделенном) внимании к происходящему есть что-то нечеловеческое.

У человека должен быть «запас», — чем обширнее, тем лучше, — посреди которого настоящее представляет собой всего лишь маленькую (пусть даже центрирующую этот запас, приводящую его в некоторый порядок) точку.

Человеку нормально, естественно быть рассеянным по всем временам, впускать в своё сиюминутное существование и прошлое, и будущее, и несбывшееся, и невозможное, и воображаемое. Полнотой и всечеловечностью жизни будет только это. Миг, на котором мы концентрируемся целиком — шипит от перенапряжения и схлопывается.

К корням

Осень, время чудес и преображений (причём глубоких, структурных). Она всегда такова, даже если данной конкретной осенью ничего «особенного» не происходит. На самом деле происходит — всегда; всякая осень переключает нас в новый регистр существования. Низкий, басовый, ближе к корням бытия. — Вообще, осень — это такое специальное оптическое устройство для рассматривания этих корней. — И всё, что служит тем же целям (скажем, библиотеки) — именно поэтому похоже на осень, в родстве с ней. Осень — алхимия бытия, гигантская, в полсвета его алхимическая лаборатория.

Уроки непопадания

...и надо ли говорить, что неудача — урок свободы, урок непопадания в зависимость от того, что с нами происходит? Урок понимания того, что мы ни к каким своим обстоятельствам никогда не сводимся? Неудача действует в этом смысле вернее удачи, потому что отождествляться с нею очень уж не хочется: она побуждает разведывать те области себя, которые остаются за её пределами.

К опытам предсмыслий

И никакими не смыслами остаётся в нас прошлое — то, что властнее всего и направляет, как оформляющая матрица, множество внутренних да и внешних процессов. — Нет, смыслы для этого слишком слабоваты и вторичны: остаётся и действует — запахами, цветными пятнами, ритмами, всей *душевной физиологией*, которая сложилась некогда под комплексом определённых воздействий и не разложится вовек, пока живы будем. (Так могут десятилетия напролёт жечь рыже-охристые и влажно-асфальтовые пятна, скажем, ноября 1983 года, хотя и смыслы того времени вроде бы уже непроглядно далеко. Смыслы — они не только возникают «на втором шаге», они и улетучиваются первыми.)

Всё кажется, что смысл — беднее предсмыслового, вторичнее его, даже при том, что полноценно без него не прожить, что в его отсутствие никакое предсмысловое не поможет, если не произошло преображающего «щелчка» и всё это сырьё не выстроилось в некоторой иерархической перспек-

тиве. Штука в том, что без этого сочного, избыточного, грубо-первичного сырья тоже никакого смысла не будет. Он берётся не из воздуха, не умозрением, не абстракцией. А именно что вот из этой *душевной физиологии*, когда она определённым образом выстраивается.

Забывается то, что теряет свою физиологию, плоть, запахи. Одна голова этого уже не удержит.

Вместить

Вдруг явилась простейшая мысль, странно, как раньше не додумалась. — Количество «взрослости» измеряется тем, сколько (особенно — разнородного) чужого ты можешь в себя вместить, не переставая быть самим собой.

Не буду настаивать на том, что это — единственный измеритель (неизмеримого). Но один из, и очень важный — точно.

Вниз и вглубь

Осень, осень, вбирание света землёй. Истончение пространства и предметов в чистый свет, уходящий всё больше вниз, всё глубже внутрь. Свет осторожно переползает с неба — в листья — и, с их опаданием — дальше, в землю. Из явного — в тайное. Из поверхностного — в глубокое. В самую сердцевину предметов.

Он будет там греться, когда станет холодно. Он будет там тихо расти.

В ноябре каждый предмет — фонарик. Каждый светится.

Осенью не надо событий, она сама — событие.

Будем-ка запастись светом и пространством на всю долгую-долгую зиму.

О любви и существовании

В начале жизни, начиная с позднего отрочества, мне уверенно чувствовалось, что любовь увеличивает не любящего, но любимого. Что она придаёт ему совершенно особый статус. Что, попросту говоря, если бы меня кто-то любил (причём любовь «эротическая» рассматривалась здесь едва ли не в последнюю очередь, как очень частный случай и в конечном счёте не такой уж обязательный, тем более, что я, зная себя «некрасивой», ничего особенного ждать в этом смыс-

ле никогда не могла, скорее уж наоборот), — так вот, если бы, думала я, кто-то меня любил, радовался бы мне, ценил бы меня, — это увеличивало бы степень моей реальности, моего присутствия в мире. И что чем больше оказалось бы людей, тем моё присутствие в мире было бы реальнее. Нелюбимый не просто не замечен, думала я, — он не вполне и существует. (Притом, конечно, как типовой интровертированный подросток, уверена была я и в том, что любить меня — не обманываясь и не заблуждаясь — невозможно, — а значит, на увеличение своего присутствия в мире — которое, в свою очередь, мне почему-то казалось очень важным — я могу не надеяться. По меньшей мере, на достижение его *этим* путём.) Я казалась себе почти несуществующей. Просто совершенно не хватало чужого утверждающего взгляда.

Что до присутствия в мире, оно и до сих пор, признаться, кажется мне важным (хотя, пожалуй, пора уже этот вопрос серьёзно пересматривать). Зато я уже знаю, что путём чьего бы то ни было отношения ко мне ни количество, ни качество этого присутствия не увеличивается вообще.

А от чего увеличивается? Наверно, от качества моего собственного отношения к чему бы то ни было, — если вообще.

А может быть, — что тоже очень похоже на правду, — я перестала так, как в начале жизни, ценить (и в конечном счёте, наверное, даже воспринимать вполне всерьёз) чужой утверждающий взгляд.

Но может быть и то, что, зная о предстоящем своём уходе из мира куда твёрже и, так сказать, практичнее, чем в молодости, я уже начинаю потихоньку рвать нити, которые меня с ним связывают. О, без насилия, только то, что напрашивается само, что и так уже перетёрлось. Хватит уже присутствовать. Наприсутствовалась.

Об опыте

Вдруг сама собой взяла да явилась мысль, разрешающая мою вечную тоску об отсутствии/нехватке у меня «опыта» как принципиального человекообразующего начала (плачет старушка, мало прожила). (Об этом даже самоизготовленный термин был: «синдром экзистенциальной недостаточности».) На самом деле всё чрезвычайно просто: лишая нас воз-

возможности прожить одни опыты, Творец щедрой рукой наделяет нас другими: опыт — всё, что может быть в качестве такового воспринято. Бедность же «породы» побуждает всего лишь к увеличению «золотонамывающих» усилий. Богатство её, пожалуй, ещё и развратить может, развинтить внимание (то есть, как вы понимаете, этот сочный и солнечный виноград наверняка зелен. То ли дело наша родимая картошечка, коричневая такая).

В конце концов, упуская один опыт, мы непременно освобождаем в нашей жизни место для другого — даём возможность случиться другому. Хотя бы — *опыту упускания опыта*.

А шарик вернулся, а он голубой.

О полноте присутствия

Работа ведь тоже ценна именно тем, что обеспечивает полноту присутствия в мире, по крайней мере — наращивает степень этого присутствия, увеличивает площадь соприкосновения с миром нашей «внутренней поверхности». Она ценна, так сказать, «энергетически» — как динамизирующее, интенсифицирующее начало. И в этом качестве она даже надёжнее внерабочего, «необязательного», потому что заставляет себя делать независимо от того, хочешь ты или нет. Служит внешним корсетом, который поддерживает нас независимо от того, насколько напрягаются наши собственные мускулы — заставляет их напрягаться. Работа, ещё прежде своих содержаний — школа формы, она учит держать и чувствовать форму (чего? — да вещества жизни). Форму как внутреннюю логику вещей. И потом эта обрётённая, заученная, «интериоризированная» форма может сказываться — оказывая «противохаотическое» действие — и во внерабочей жизни.

... кстати, нарабатывающий собственную, изнутри воспроизводящуюся форму наращивает тем самым и степень собственной независимости от мира.

В жанре ответа

...ну понятно же, что в основе любви — всякой, к человеку ли, к городу, к времени ли, к состоянию ли воздуха (и такое бывает) лежит некоторое *узнавание*. Вздрагивание в нас в ответ любимому (а понятно же, что любовь = суще-

ствование в жанре ответа*)** — того, о чём мы, пожалуй, даже и не подозревали бы — но что безошибочно опознаём как «своё» — и открываем, может быть, впервые в акте узнавания.

Раздвижной и прижизненный дом

Всякая работа строит вокруг человека дом — защищающий, конечно, от мира, но ещё и такой, в котором возможны страшно важные вещи: уют и *локальный* — он же и персональный — порядок. Дом, который носишь на себе, как кокон: он «всегда с тобой», — всё время воспроизводишь его собственными действиями, растишь, питая собой — всё время раздвигаешь его рамки и одновременно удерживаешь его границы.

Похвала вынужденному

Как известно, вынужденное даётся нам для того, чтобы мы наконец рассмотрели то, на рассмотрение чего по собственной воле — и по собственной душевной лени — не отважились бы. Для выхода за собственные пределы, понятно, чтобы не закаменели в них. Для сопротивления косности.

Из навязчивого

Мнится: стоит только перестать перегонять душевные массы в работу, как они станут вязкими, косными, спекутся — и слепятся в конце концов в один бесформенный ком, который

* Если ВСЁ человеческое — существование в жанре ответа (и комментария), тогда любовь — такое существование *par excellence*, — существование в жанре интенсивного ответа. (Можно, конечно, и просто сказать — повышенно-интенсивное существование, но мне кажется важным здесь подчеркнуть именно момент *ответа*, потому что вообще-то мыслимы и очень монологичные и, так сказать, аутичные комментарии к бытию.

** Понятно также, что это не имеет отношения к «ответной» любви. Мы отвечаем собой — всеми целиком — на существование любимого объекта вне всякой, по большому счёту, зависимости от того, как он к нам относится и замечает ли он нас вообще. Вся наша внутренняя структура, то есть, начинает выстраиваться с учётом этого «объекта», как его отражение на нашем «материале», слепок из этого материала — «в темноте всем телом твои черты, как безумное зеркало, повторяя» — с той только разницей, что не только всем телом, а всем вообще.

как только остынет — всё, не приведёшь его ни в какую структуру, так и останешься. — Работа (нашёптывает в уши бес навязчивости и несвободы — это ведь они) — средство для поддержания собственной внутренней структуры точно в той же мере, в какой — поддержания внешних связей, собственной ниши в этом самом социуме. А структуру-де надо всё время поддерживать, бросать дрова в топку, сохранять внутренний материал в текучем, горячем и постоянно самоорганизующемся состоянии. Поддерживать в себе (так и готовый угаснуть) инстинкт структуры.

Светом и цветом

Всё более и более делается мне внятно то, что сказано одним только светом и цветом. Не словами. Даже не звуком.

Разумеется, к сути — не скажу созревания, но возраста (который совсем не обязательно означает прирост и набирание внутреннего веса, но уж изменения-то означает обязательно — и они во всяком случае, кстати, интересны, независимо от того, «прирост» они или нет, «вверх» они или «вниз» — потому что и у «низа» свои смыслы и своя правда) принадлежит ещё и изменение отношений со словом.

Как взхлёб говорилось в молодости! Хоть письменно, хоть устно. Каков был невроз говорения и выговаривания — как казалось, что если нечто не названо, то оно и не существует, и чем отчётливее назовёшь, чем подробнее проговоришь — тем больше и существует. В говорении мнилось что-то демиургическое — а уж «аутопойетическое», самообразующее — во всяком случае. Изрядно было и от насилия в этой демиургии: вытягивание бытия — за волосы слов — на свет. Даже если этот свет резал глаза. Тем более, если резал.

У, как любит молодость насилие и преодоление, сколько видит в них правды.

А вот свет и цвет, сколь бы сильно ни воздействовали — всё-таки оставляют человека более свободным. Слово, мнится мне сейчас, по определению более жёстко «канализирует» человека.

Кстати, самой интересно, что всю первую половину жизни чувствовалось ровно наоборот.

Об упускаемом

Не потому ли в молодости так мучает «упускаемое», «мимо» проходящая (а я, значит, не догоняю!) жизнь, что человек ещё не знает, каким он будет — всё способно оказаться своим, всё может стать материалом для самостроительства? — оттого и страшно упускать: а вдруг упустишь существенное, единственное-единственное своё, без чего самим собой никогда не станешь? Страшно же стать никем! Страшно же недоволотиться! (И только к сорока, а то и после начинаешь догадываться, что «своё» — это то, что в качестве такового переживёшь, что оно может оказаться где угодно, оно буквально под ногами валяется на каждом шагу — потому что, на самом-то деле, его из *всего* можно сделать.)

А к тем самым после-сорока догадываешься и о том, что огромные массивы жизни могут совершенно спокойно проходить мимо, потому что они не твои и ты без них прекрасно обойдёшься. «Самость»-то уже набрана. Дом построен, остаётся обживать, заниматься его дизайном, ну, в крайнем случае — внутренними переустройствами. Стены передвинуть, двери пробить... Столько забот вообще — чего на внешнее отвлекаться?

Поэтому упускание и транжирство огромного числа не давшихся в руки возможностей дают мало с чем сравнимое чувство собственной свободы и богатства: вот как я сорю бытием, не нужно оно мне, не буду я бегать за ним и попадать от него в зависимость! Не буду я унижаться!

И вот в этом кроется очень большой и губительный соблазн, потому что можно запросто вообще утратить вкус к переступанию своих пределов. Этот соблазн — только по видимости освобождающий, на самом деле он страшно привязывает — к этим освоенным границам. Становишься узником самого себя и драгоценного «своего». Не про нас будь сказано.

(На самом деле, это и сейчас сладко: отправляться в знакомство с чем бы то ни было, зная — теперь-то уж наверняка зная! — что из этого так или иначе сделаешь себя. Помнить, что лепка и выделка себя — как аутопластика и даже как аутопойесис* — ещё не закончена — и ещё необозримое

* Если *аутопластика* — работа с собственной формой, то *аутопойесис* — создание себя уже на уровне самой сущности. Разумеется, это вещи связанные и вполне взаимопроникающие, но всё-таки отли-

количество всего может оказаться её материалом. Оно, между прочим, всегда необозримо, даже если нам остался какой-нибудь день жизни: мы ведь всё равно наперёд не знаем его возможностей.)

Всё-таки человек существует в движении. Всё-таки человек «не имеет массы покоя» (а когда приобретает — потихонечку уже и перестаёт делаться человеком, перемещается в постчеловеческое состояние. Превращается в постскрипtum к самому себе). Всё-таки его должны продувать сквозняки.

Хорошо поэтому устраивать себе время от времени рецидивы молодости, прорывать границы, рушить стены (да, жалко, а как же. И должно быть жалко: чего не жаль, у того нет ценности). Впускать в себя непредсказуемые объёмы неосвоенного, непрогретого домашним дыханием воздуха.

И вот пока у человека есть вкус к такому действию, по крайней мере — понимание, хотя бы только головой, его необходимости — он молод. Ведь, как и было сказано, молодость любит насилие, усилие и преодоление (да, да, от избытка сил, с которым, как правило, не знает, что делать, — ну и что?) Она восприимчива к их правде. Которая, между прочим, у них тоже есть.

Совиным пером

Родная домашняя бессонница. А ведь она — тоже признак дома, и ещё из самых устойчивых. И уюта, конечно, да.

Можно даже сказать, что бессонница — ритуал своего рода. Как всякий ритуал, она служит собиранию жизни в устойчивые формы. Чтобы не растекалась.

В условиях собственной невозможности

...и даже вот так: упускание чего-то (даже — особенно! — важного, да!), запускание обязанностей, пренебрежение ими, принятие и этого пренебрежения, и своей связанной с ним неминуемой и обязательной вины — это условие свободы. Одно из, но тем не менее. Надо что-то упустить, лучше крупное, лучше по большому счёту, совсем хорошо — если что-

чающиеся друг от друга. С формой можно работать, не трогая сущности. Вот сущность задеть — без изменений в форме — пожалуй, никак.

нибудь такое непоправимое, — чтобы особенно глубоко и широко вдохнуть — и выдохнуть.

Вообще, может быть, масштаб наших потерь соразмерен глубине и широте нашего дыхания.

В существенный состав свободы входит и умение терять, упускать, утрачивать опору и оправдание, жить виноватым. Жить перечёркнутым. Жить в условиях собственной невозможности.

Эстетика паузы

Приснилось словосочетание: *эстетика паузы*. Надо подумать, чем это может быть.

(Про *этику паузы* мне было бы понятно, что она такое: это умолкание перед другим, позволение ему говорить и звучать, освобождение ему звукового пространства — и деятельности, поскольку пауза — явление не только звуковое. В общем — пространства осуществления.)

О смыслах узкого

...на самом деле всё очень просто: узкая, монотонная работа (типа расшифровывания какой-нибудь аудиозаписи), сужающая внимание исполнителя до вслушивания в (чужие) звуки да тупого битья по клавишам, — нужна затем, что очень обостряет тоску по миру за её пределами, вырачивает и воспитывает чувство его громадной, бесконечной ценности.

И когда мы из этой узкой работы наконец выходим (ну хоть на время. Совсем разве выйдешь!), с какой первозданной и жадной благодарностью мы вдыхаем всё, что не она, каким полным смыслами и жизнью всё это нам кажется. Надышаться не можем.

Кстати, это одно из простейших средств достижения той полноты жизни, которая синонимична счастью.

Осень: колористика, текстология

Как я люблю эту серую, на глазах сереющую осень, стремительно уходящую из красок — в графику, из красок и цветов — в полутона. Мнится, будто она куда богаче подтекстами, чем более красочные времена года. Собственно, она — сплошные подтексты. А всё остальное — только повод к ним. Просто, чтобы им было на чём держаться.

Какая, на самом деле, богатая в своей сдержанности и скудости красота. Как много можно (всякую осень заново — с изумлением — оказывается) сказать многообразием оттенков серого, рыже-ржавого, коричневого, гаснущих остатков жёлтого, красного, зелёного. Как щедро и тонко интонированы высказывания осени, как рельефны и подробны её шёпоты! А лето орёт в уши: «АААААААА».

Ну и, наконец, с детства помню, что серость (в частности, осени) дана затем, чтобы её *раскрасить изнутри*. Для созревания (медленного, конечно! Осень вообще медленна, за что и люблю) оранжевых, светящихся мыслей и янтарных, густых, медовых и прозрачных чувств. Для превращения себя — целиком — в светящийся в густеющих сумерках фонарик.

О несгораемом

Вина — горькое топливо жизни. Горькое и горячее.

Она (тоже) интенсифицирует жизнь, да. Загущивает её.

А ещё вина — как ветер, жёсткий, в лицо, сдувающий мясо с кости. Что перед виной устоит — то в тебе настоящее.

Что в ней сгорит — тому туда и дорога.

Кстати, подумалось мне, что подобное касается многих уничтожающих вещей. Например, если в жизни не получилось того, что считалось, чувствовалось, мнилось (да не всё ли равно!?) главным — что, словом, переживалось как главное, независимо от того, «достойно» ли оно было этого высокого звания: настоящее, несгораемый костяк жизни — то, что этим не перечёркивается.

Оно, так сказать, главнее главного. На всякое главное, на самом деле, всегда найдётся ещё более главное.

В этом смысле человеку полезно неисполнение Главных Проектов: чтобы искал ещё более главное.

Жизнь вообще хорошо проверяется в условиях собственной невозможности, да.

К анатомии работы: О зоне невозможности

Во взаимоотношениях с любой работой самое интересное, даже захватывающее — область её внутренней невозможности (всегда бывает *точка невозможности*, это да, но иной раз она разрастается в целую зону с трудноопределимыми границами): совершенно не представляешь себе, куда

тебя из этой зоны выпрет и выпрет ли куда-нибудь вообще. Материала для отчаяния тут предостаточно, чистое отчаяние, осваивай — не хочу. Тот ещё, между прочим, экзистенциальный тренинг. — Работа почему-то никогда не умеет ограничиваться исключительно функциональным планом жизни, так и прорастает, зараза — даже подённая — в более глубокие: всякой работой ведь затрагиваешь свои обязательства перед людьми, свои отношения с ними — тут же впутываешься и в этику, и в отношения с собственной самооценкой как особую и особо мучительную разновидность этики.

Работа и есть борьба с собственной невозможностью (не только с её, но и со своей).

А невозможность так и норовит одолеть. Она всё время чувствуется сильнее и реальнее (возможности, бытия, сопротивления), а победа над ней каждый раз — временной.

Или скажем мягче: работа — это диалог с собственной невозможностью. Полный как борьбы, так и компромисса и уступок друг другу. И во всяком случае — обмена сведениями друг о друге. Взаимопознание, так сказать.

Подозреваю, что если работа не пройдёт через точку невозможности, не ударится о дно, о свой абсолютный нуль — ничего из неё и не выйдет. Это падение — и отчаяние — (и, может быть, только оно) должно дать энергию подъёма.

Понимание невозможности чего бы то ни было — кажется, необходимое условие, самое ядро его понимания вообще.

О том же: между двух бездн

Работа — упражнение в ужасе и отчаянии (не даётся — а сделать надо, не сделаешь — будет катастрофа, а не даётся всё равно. Постоянное прокладывание себе мостков через болото, которые, чтобы проложить их впереди, у себя же изпод ног и выдёргиваешь. И поминутно почему-то оказываешься в такой ситуации, что ни спереди, ни сзади, ни под ногами нет ничего, даже хрупких досок — одна зыбкая хлябь. Непонятно как держишься). А всё, что помимо работы (и глубже и страшнее её — скажем, отношения с медициной, которая, в свою очередь, занимается твоими отношениями со смертью) — это упражнение в понимании того, что ужас и отчаяние куда как не сводятся к работе, — то, что в работе —

это ещё ручное и карманное.

В общем получается как-то так, что человек привыкает жить над бездной (почему-то сначала подумалось: «между двух бездн», — должно быть, между безднами сверху и снизу — или безднами своего прошлого и будущего небытия) — то есть к тому, к чему привыкнуть, вроде бы, по определению невозможно.

И после бездны

Закончишь же очередную работу — и вместо того, чтобы радоваться свободе и сообщать себе, какой ты молодец, — чувствуешь с изумлением дикую незащищённость, сквозняк со всех сторон, неприкаянность и неоправданность. Нарушенность тяготений, бунт вестибулярного аппарата. Хочется снова — в маленький, временный, дощатый, даже картонный, но всё-таки — домик работы. В правильное распределение тяготений. В тесный уют цейтнота и аврала, самый ритм и напряжение которого поддерживают твоё существование и не дают ему упасть.

Впрочем, бегство ли это от свободы — ещё большой вопрос: ничто, кроме плотной занятости, не даёт такой тщательной, такой настоящей свободы от мира.

Знакомство-прощание

...Да и вообще-то подумаешь, что человек познаёт, а особенно — оценивает мир главным — самым острым — образом в модусе утраты (чтобы тянуться за ним: эта тяга, это напряжение тяги и есть стержень познания). А уж ближе к концу жизни — тем более.

Попав однажды в город, на знакомство с которым у меня было всего два неполных дня (вторая половина одного дня и первая — следующего), изобрела я для своих отношений с ним термин «знакомство-прощание»: такое знакомство, которое и прощание одновременно, — видишь в первый раз — и уже насматриваешься напоследок, в запас. Набиваешь новоузнаваемым внутренне карманы, без порядка, как влезает и пока влезает: потом пересмотрю и разберу! А сейчас успеть бы набрать побольше!

Так вот, подумалось мне, что с какого-то возраста (иногда чувствуется, будто я уже в нём, реже — что ещё нет) наши

отношения с миром вообще переходят в стадию такого знакомства-прощания, — всякое знакомство уже прощание, пронизано его напряжениями, если угодно, его пафосом. Одно несчастье: боюсь, «в запас» — чтобы потом в памяти пересмотреть — взять будет некуда.

Подумала я и о том, что так надо бы воспринимать и собственный город: ведь и его нам показывают раз в жизни и рано или поздно непременно будет поздно.

На мир вообще хочется смотреть хотя бы просто потому, что он есть. Запасаться им на всю длину будущего небытия. Смотреть просто потому, что больше его не увидим. Что он случился с нами единственный раз в жизни.

О формообразующих константах

Есть у меня такой ритуал: хоть раз в год (чаще, собственно, и не надо) ходить пешком по некоторым местам детства, с которыми уже не осталось никаких реальных связей, кроме памяти, и которые, впитавши в себя много-много этой памяти, заполняют у меня эмоциональную нишу утраченной родины (что утрачены, так это да, но в строгом смысле родиной эти места не были, — разве что в том, в каком ею может быть названо всякое значительно сформировавшее нас пространство).

Что-то в этих походах есть очень родственное поездкам на кладбище, даже так: это явления совершенно одного порядка — и этот порядок имеет гораздо больше отношения к жизни, чем к смерти. Хотя бы потому, что у смерти нет порядка. Его перед лицом смерти — а оно же всегда на нас смотрит, просто иногда — особенно, — чтобы укрепить себя, выстраивает жизнь. Да, и там, и там, конечно, погребена — и не воскреснет до трубы Страшного Суда — моя прежняя жизнь (воскресают ли наши собственные прежние, пережитые состояния?) — но дело всё-таки не в этом, то есть не в факте погребённости и утраты — хотя и в нём тоже.

Это спуск к корням, к формообразующим константам. Подтверждение в себе этих констант, возобновление в себе их действия — как всякий ритуал: форма, интенсифицирующая, обновляющая содержание, — «перетряхивающая» его и укладывающая в новый порядок — даже если он по видимости совершенно совпадает со старым.

На самом-то деле полного, настоящего совпадения никогда нет.

Ритуалом мы заводим себя, как (механические) часы, чтобы пружина снова была тугая — и могла опять медленно, медленно раскручиваться.

Об (абсолютной) адресованности

Вообще, очень естественным — очень соблазнительным в этом смысле — кажется представить жизнь вообще как большой, на десятилетия растянутый акт самосоздания, «аутопойетический», — представить его в качестве формулировки себя как такого большого мегавысказывания, адресованного, в конечном счёте, Тому, Кто только и может это мегавысказывание (вместе со всеми другими такими же) прочитать и воспринять — Абсолютному Адресату. Себя как письма, которое непременно до своего Адресата дойдёт, уже просто потому, что к Нему ведут все дороги. Едва себе такое представишь, сразу внутренние структуры укладываются в очень компактный, обозримый и даже гармоничный порядок.

Но кажется это именно чересчур, подозрительно естественным, слишком напрашивающимся, избыточно антропоморфным — слишком удобным, чтобы быть правдой. Слишком уж идёшь на поводу у культурных инерций — и собственной потребности в адресованности и услышанности, да ещё такой, которая превосходила бы всякую человеческую потребность во мне как предмете слышания и понимания — понятно же, что абсолютно каждому человеку надо слышать себя, а не меня. Допуская Абсолютного Адресата, который к тому же, предположительно, воспримет всё максимально адекватно (то есть, в соответствии с моими привычками, представлениями и ценностями, а как же ещё!) — оказываешься в ситуации ищущей не там, где потеряла, а там, где светлее — и найденное объявляешь, ради собственного удобства, именно тем, что искала, тем более, что оно очень хорошо пригождается. А находишь-то не Абсолютного Адресата, а культурные заготовки таких же, как ты, нуждающихся в «адекватной» услышанности, и связанных с тобою общими культурными конвенциями. Мудрено ли, что они пригождаются: они под такие запросы и созданы.

Стёкла Спинозы: О повторениях

Если повторение требует себя осуществить — значит, у него есть резоны, которыми просто так пренебречь тоже нельзя.

Повторение и навязчивость, повторение и вязкость — такие по видимости схожие и несомненно родственные — я бы разделяла.

Повторение — оно не в точности о том же, оно — каждый раз одно и то же по-разному.

Повторение — разновидность шлифовки (спиновых стёкол). Чем больше шлифуешь, тем лучше сквозь них и видно.

Повторением — взрослеешь (процесс, понятное дело, бесконечный), — шлифуешь себя. Повторение — бесконечное самоуточнение.

А ещё убираешь страх и тревогу перед повторяемым, тоже хорошо. Самодрессировка такая.

Наконец, повторение — это тип отношения с константами разного рода (в том числе с антропологическими и экзистенциальными, а как же). Попробуй-ка общаться с ними иначе, чем повторяясь! Нет, тут надо урок твердить.

Для сердца смертного таит неизъяснимы наслажденья

Какое счастье — стареть и понимать, что «красота», отсутствие которой (скорее — осознание отсутствия) так мучило в молодости — промучило и прожгло всю молодость! определило чёртову прорву жизненных стратегий и тактик! — больше уже не нужна. Даже если будет — не пригодится. Уже можно спокойно и свободно жить без неё, ничего (никого) не добиваясь, ничего никому не доказывая. В молодости человек — охотник, охотится на мир, измышляет и использует приманки. Больше не надо охотиться. Что поймалось — то поймалось, больше уже ничего не поймается.

Сколько воздуха образуется при этом вокруг!

Старая, человек всё больше остаётся с миром один на один: без кучи посредников, отношения с которыми надо как-то улаживать. Мир редет, как осенние ветки деревьев, с которых облетают листья. Остаются крупные вещи жизни: небо, деревья, земля.

Да, конечно, за эту свободу платишь смертью. Но ведь оно и вообще так устроено: за всё платишь именно и только ею, в другой валюте просто не принимается, нет другой валюты. И чем дороже платишь — тем дороже приобретаемое, Господь не обманывает, уметь бы только увидеть.

Это очень приводит мне на ум вид Земли с самолёта. Красота нечеловеческая, метафизическая. Но мне, до обморока боящейся всего связанного с высотой, невозможно каждый Божий раз не думать и о том, что возможность видеть такую красоту, переживать её как факт собственной жизни получаешь исключительно ценой реальной возможности смерти (из-за падения с этой нечеловеческой высоты).

Вот со старостью происходит что-то очень подобное. Она поднимает нас на такую высоту — с которой видна невообразимая для молодости, может быть, чуждая молодости, немного нечеловеческая (чем дальше, тем всё больше нечеловеческая) красота мира. С одной небольшой разницей: с этой высоты непременно — и чем дальше, тем скорее — придётся упасть.

Приносимое возрастом освобождение от мира ни в малейшей степени не кажется мне — по крайней мере, на текущей возрастной стадии — убыванием потребности в нём. Напротив того: жадно хочется мира, разного, в больших количествах, как факта собственного душевного, умственного и телесного опыта. Просто не хочется уже самоутверждаться в нём и делать новоузнаваемое инструментом своего чего бы то ни было. Хочется просто созерцать его, впускать его в себя таким, каков он есть — не суживая рамок и объёмов созерцания какими бы то ни было целевыми установками. Чтобы в мире было двое, я и мир, как сказала М.И.Ц.

И поплывёшь

Очередная утешалка себе о том, как справляться со страхом перед лицом страшного.

Первое, что я могу себе в свете этого предложить — вообще не думать о страшном: не держать его в статусе страшного. Просто жить всем другим, как будто этого нет (а его ведь и нет! — пока не наступило) — и идти страшному навстречу, чтобы оно само испугалось, и прожить (прожечь!) его насквозь — и выйти. И не отравлять себе им жизнь, пока оно не наступило. Оно ведь только форма, а человек всегда

живёт внутри — любой формы. И в этом внутри у нас — целый мир. Что нам какая-то оболочка?

И другой вариант: броситься очертя голову в страшное, с разбега — как в воду.

Волны подхватят тебя, и ты поплывёшь.

Не говоря уж о том, что в ситуации страха настолько активизируются защитные механизмы, что помогать начинает каждая мелочь, которую прежде и не заметила бы — или мелочи давно замеченные вдруг обнаруживают и включают свой утешающий и поддерживающий потенциал.

И блаженное бессмысленное слово

Отношения с языком — прежде всего чувственные.

Понятийные, смысловые — уж потом, на втором шаге, — множеством нитей завязанном на первый. Вначале мы чувствуем слово на губах, осязаем пузырьки его звуков, их выпуклости, впадинки, зазубрины. Наши отношения с понятиями — в том числе с самыми что ни на есть «головными» — складываются в прихотливой зависимости от вкуса звуков во рту, от их реакции с вдыхаемым и выдыхаемым воздухом, от шороха их, произносимых, вдоль по нашему собственному телу, от вскипания чувств, озноба и жара им в ответ.

Вообще, кажется, настоящие отношения с языком (чужим — осваиваемым; со своим-то они априорны) начинаются тогда, когда начинается вот такое субъективное чувственное реагирование на него, когда он превращается в наше собственное телесное событие — предшествующее смыслу и порождающее его.

А может, лучшая победа

Только транжирающий время — тратящий его с бессмысленной размашистостью огромными охалками — может чувствовать себя по-настоящему (пусть иллюзорно, какая в конце концов разница!) его хозяином.

Оно нас убивает — а мы его транжирим. Это ли не (пусть и преходящая, и безнадёжная!) победа?

На просвет

...да, может быть, ничего отвлечённого и нет. Может быть, мышление человека на самом деле и вовсе не знает абстракций.

Самое отвлечённое подходит к нам в облике чувственного. Дышит в лицо, слепит, обжигает кожу — чем отвлечённой, тем больше, тем жарче. Наворачивает растерянные слёзы. В исчезающе-малом — большое видно на просвет; общее и мимо-лётно-единичное — пугливые рыбы внутренних глубин — всплывают друг в друге, плят в нас мутные глаза.

Всякое понятие в своих корнях — глоток бытия: густого и солёного, горького и скользкого — трудный глоток — одним комком.

Всякую схему — даже самую чёрно-белую — питают жаркие пятна цвета и света.

О чувстве времени

Постоянная работа к жёстким срокам и связанная с нею практически непрерывная самомотивация приводят к формированию очень специфичного — тончайше детализированного — чувства времени. Время, во-первых, становится «крупитчатым»: делится на множество почти самоценных моментов, — каждый чувствуешь особо, отдельно, с только-ему-назначенной остротой. Во-вторых, каждый такой момент как бы разбухает изнутри — когда изыскиваешь возможности как можно более тщательного его использования. (Обратной стороной этого может быть «истощение времени»: когда интенсивной эксплуатацией высасываешь из времени все его животворящие соки, рано или поздно его внутренние источники иссякают — и время падает к твоим ногам пустой выработанной, прозрачной шкуркой.)

О смысле жизни

Вдруг подумалась странная вещь: работа не может быть смыслом жизни уже хотя бы потому, что она — зарабатывание денег (а то ещё и социального статуса) — то есть поддержание этой самой жизни. То есть это скорее из области хлеба насущного. Смыслом же её — чистым самопревосхождением — способна быть только бескорыстная самоотдача.

Смысла вообще в жизни, может быть, ровно столько, сколько бескорыстной самоотдачи. Поскольку смысл — активная, динамическая связь с чем-то внешним нам и превосходящим нас. Смысл жизни — это её (вовне вынесенная) перспектива: как смыслом знака не может быть он сам, но то,

на что он указывает, — так и смыслом жизни не может быть она сама, но только то, на что она указывает всей собой. А сама жизнь при этом — только сырьё, инструмент. (Притом я не утверждаю, что такое — то, чего она инструмент — непременно есть или должно быть. Я не знаю.)